

МАЙКЛ
КАННИНГЕМ
ДОМ НА КРАЮ
СВЕТА

Перевод с английского
Дмитрия Веденяпина



издательство **АСТ**

Москва

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Бобби

Однажды отец купил кабриолет “шевроле”. Ни о чем не спрашивайте. Мне было пять лет. Просто в один прекрасный день он приехал на нем домой, причем с таким небрежным видом, словно купил не автомобиль, а пачку мороженого. Вообразите удивление матери, которая аптечные резинки и те хранила про запас на дверных ручках; мыла и вывешивала сушиться на веревочке полиэтиленовые пакеты, болтавшиеся потом на солнце, как ручные медузы. Представьте, как, пытаясь отбить сырный дух, она скоблит очередной пакет, уже послуживший ей, по меньшей мере, раза три-четыре, а тут подкатывает отец на “шевроле”, подержанном, но все-таки настоящем, с хромированными бамперами, — огромный сверкающий металлический остров, целый мир серебристой автомобильной плоти.

Кабриолет с надписью “Продается” на лобовом стекле стоял в центре города, и отец решил, что он тот самый человек, который способен вот так просто взять и купить. Впрочем, уже при подъезде к дому его маниакальный энтузиазм заметно слабеет. Автомобиль — уже обуза. Застывшая улыбка, с которой он сворачивает к гаражу, идеально гармонирует с акульным оскалом радиаторной решетки.

Разумеется, машину придется продать. Мать к ней даже не подойдет. Нас с моим старшим братом Карл-

тоном один раз прокатят. Карлтон — в восторге. Я настроен скептически. Если отец может купить машину на улице, чего еще от него ждать? Кем делает его этот поступок?

Он везет нас за город. Придорожные стоянки завалены яблоками. На фермерских участках желтеют тыквы. Карлтон в диком возбуждении все время вскакивает на ноги, и его приходится тянуть вниз. Я помогаю. На Карлтоне ковбойский ремень с заклепками. Отец хватает его с одного боку, я — с другого. Мне это нравится. Я делаю полезное дело: помогаю держать Карлтона.

Мы проезжаем большую ферму, застывшую, как корабль на приколе, в волнах пшеницы. Белая крыша призрачно светится в вечерней дымке. Все мы, даже Карлтон, невольно замолкаем. В этом месте как будто есть что-то родное. Коровы жуют траву, деревья отбрасывают длинные тени. Мы — фермеры, говорю я себе, и вместе с тем нам по карману кабриолет! На свете нет ничего невозможного! Когда вечером я еду на машине, мне кажется, что луна плывет следом.

— Мы дома! — кричу я, когда мы проносимся мимо фермы, сам не понимая, что говорю, — от совместного воздействия ветра и скорости в голове у меня явно что-то спуталось. Но ни Карлтон, ни отец ни о чем меня не спрашивают. Мы рассекаем живую тишину. Уверен, что в этот момент всем нам грезится одно и то же. Я запрокидываю голову, чтобы убедиться, что белый шар луны и вправду скользит за нами по бледно-сизому небу. Но вот Карлтон снова вскакивает и что-то кричит, подставив лицо бешеному напору встречного ветра, а мы с отцом тянем его назад, на сиденье этой огромной машины, туда, где ему ничто не угрожает.

Джонатан

В сумерках мы собрались на темнеющем гольфовом поле. Мне пять лет. В воздухе пахнет свежескошенной травой, и в сгущающейся мгле тускло поблескивают песчаные ловушки. Я еду на плечах у отца — одновременно всадник и пленник его огромности. Голыми ногами я, вздрагивая от щекотки, прижимаюсь к его колючим, как наждачная бумага, щекам, а руками держу его за уши — большие мягкие раковины, усеянные мелкими волосками.

В полумраке мамины красные губы и покрытые лаком ногти кажутся черными. Мать беременна — это уже заметно, — и люди уступают ей дорогу. Мы раскладываем свои алюминиевые шезлонги на второй травяной дорожке. Народу по случаю праздника видимо-невидимо. Там и сям над переносными жаровнями поднимаются струйки пахучего дыма. Я забираюсь к отцу на колени, и мне разрешают хлебнуть пива. Мать обмахивается воскресным юмористическим журналом. В сиреновом воздухе над нами кружатся комары.

В тот год для устройства фейерверка на Четвертое июля в Кливленд пригласили двух знаменитых братьев-мексиканцев. Эти братья показывали свои шоу в дни государственных и религиозных праздников по всему миру. Они родились в мексиканской глубинке, там, где хлеб выпекают в виде черепов и мадонн, а фейерверки почитают вершиной искусства.

Представление началось еще до появления первой звезды. Первые номера были невыразительны. Словно поддразнивая собравшихся, братья начали с заурядных двойных и тройных петард, спиральных шутих и аэрозольных радуг, распадавшихся на грязновато-бурые орхидеи цветного дыма. Ничего сног-

сшибательного. Но вот, выдержав паузу, они взялись за дело всерьез. Оставляя в воздухе тонкий серебристый шлейф, вертикально вверх взметнулась новая ракета и, взорвавшись на излете, обратилась в пылающую лилию о пяти лепестках, а на конце каждого лепестка вспыхнуло еще по цветку. По толпе пробежал гул одобрения. Отец, обхватив громадной загорелой ладонью мой живот, спросил, нравится ли мне представление. Я кивнул. Завитки темно-русых волос густо выбивались из-под ворота его летней полосатой рубашки.

Над нами на серебристых стеблях расцвело еще несколько лилий — малиновых, желтых и розовато-лиловых. Затем по небу принялись разгуливать гигантские змеи — по дюжине зараз, — со свистом изрыгавшие оранжевое пламя. Они сходились, расходились, снова сплетались, вычерчивая в воздухе невероятные кривые и неустанно шипя. Потом пространство заполнилось огромными беззвучными снежинками — одни были правильными кристаллами безупречной белизны, а из других в какой-то момент соткалась статуя Свободы с голубыми глазами и рубиновыми губами. У тысяч зрителей вырвался вздох восхищения, раздались аплодисменты. Я помню шею отца в пятнышках засохшей крови, шероховатую кожу, неплотно облегающую узловатое устройство, поглощающее пиво. Когда я вскрикивал от какого-нибудь чересчур громкого залпа или оттого, что несгоревшие цветные угольки падали, казалось, прямо на голову, отец успокаивал меня, уверяя, что бояться абсолютно нечего. Звук его голоса гулко отдавался у меня в животе и в ногах. Его ладные руки — на каждой ровно посередине как бы нехотя проступала одна-единственная вена — держали меня крепко и надежно.

Я хочу рассказать о физической красоте отца. Я понимаю, что это не принято. Как правило, рассказывая об отцах, выделяют такие их качества, как бесстрашие или безудержный гнев, иногда даже нежность. Но я — вспоминая своего отца — хочу особо отметить его безусловную красоту: симметричную мощь гибких рук, светлых и мускулистых, словно вырезанных из ясеня; упругое изящество легкой походки. Это был невысокий, плотный, пропорционально сложенный человек; темноглазый владелец кинотеатра, тихо влюбленный в кинематограф. У матери случались приступы мигрени и раздражительности, отец же всегда был бодр, всегда куда-то спешил и всегда надеялся на лучшее.

Когда он уходил на работу, мы с матерью оставались дома одни. Она либо выдумывала для нас какие-нибудь комнатные игры, либо просила меня помочь ей на кухне. Она не любила гулять, особенно зимой, потому что от холода у нее начинала болеть голова. Мать была родом из Нового Орлеана. Миниатюрная женщина с точными движениями. Замуж она вышла совсем юной. Иногда она садилась у окна (я должен был сидеть рядом) и глядела на улицу, словно в ожидании той минуты, когда зимний законный пейзаж превратится наконец во что-то привычное, во что-то такое, чему можно будет довериться с естественной беззаботностью полнокровных, громогласных огайских матрон, уверенно пилотирующих свои колоссальные автомобили, набитые продуктами, детьми и престарелыми родственниками. Исполинские пикапы громыхая проносились мимо нашего дома, подобные разукрашенным танкам на парадах в честь военных побед.

— Джонатан, — шептала мать. — Эй, малыш! О чем ты думаешь?

Это был ее любимый вопрос.

— Не знаю, — отвечал я.

— Расскажи что-нибудь, — просила она. — Расскажи мне какую-нибудь историю.

Я понимал, что нужно что-то говорить.

— Ребята идут с санками к реке, — начинал я. (За окном двое соседских мальчишек в шерстяных клетчатых шапочках тянули по снегу облезлый снегокат. Они были старше меня и вызывали во мне смешанное чувство страха и восхищения.) — Они идут кататься по льду. Но им нужно быть осторожными — там проруби. Один маленький мальчик недавно провалился в прорубь и утонул.

Так себе рассказ! Но ничего лучшего придумать с ходу я просто не мог.

— Откуда ты об этом знаешь? — спросила она.

Я пожал плечами. Мне казалось, я сам это выдумал. Я не всегда умел отделить то, что происходило на самом деле, от того, что только могло произойти.

— Ты боишься? — спросила она.

— Нет.

Я представил, как скольжу по широкой ледяной глади, ловко огибая полыньи с рваными, зазубренными краями, куда с печальными, обреченными, едва различимыми всплесками падают другие мальчики.

— С тобой ничего плохого не случится, — сказала мать, глядя меня по голове. — Ни о чем не беспокойся. Нам с тобой ничто не угрожает.

Я кивнул, хотя и услышал нотки неуверенности у нее в голосе. На ее лице — у матери был тяжелый подбородок и маленький нос — дрожал резкий отблеск холодного зимнего света, ударившегося об об-

леденелую мостовую и зеркальным рикошетом угодившего к нам в дом, где, гуляя по комнатам, он то вспыхивал на столовом серебре, то переливался на гранях люстры.

— А как насчет какой-нибудь *смешной* истории? — спросила мать. — По-моему, она была бы сейчас очень кстати.

— Хорошо, — отозвался я, хотя не знал ни одной смешной истории.

Юмор был для меня чем-то совершенно загадочным. Я умел рассказывать лишь о том, что видел. За окном появилась мисс Хайдеггер, старушка из соседнего дома. Можно было подумать, что ее пальто сшито из мышинных шкур. Она подобрала газетный лист, занесенный ветром к ней во двор, и проковыляла обратно в дом. Из разговоров родителей между собой я знал, что мисс Хайдеггер смешная. Смешными считались ее страсть к безупречной чистоте и ее убежденность в том, что школы, телефонная компания и лютеранская церковь находятся в руках коммунистов. Отец иногда говорил высоким надтреснутым голосом:

— Эти коммунисты опять прислали нам счет за электричество. Попомните мои слова: они выживают нас из наших домов!

Услышав что-нибудь в этом роде, мать всегда смеялась, даже тогда, когда и вправду надо было оплачивать счета и на лице у нее проступала тревога, особенно заметная в глазах и в уголках рта.

Сидя в тот день у окна, я тоже решил попробовать изобразить мисс Хайдеггер. Писклявым, срывающимся голосом, вообще говоря, не сильно отличавшимся от моего собственного, я произнес:

— Посмотрите, эти гадкие коммунисты закинули газету на мой участок!

Я встал, на негнущихся ногах прошаркал на середину комнаты и, взяв с журнального столика “Тайм”, потряс им над головой.

— Эй, коммунисты! — проквашал я. — Оставьте нас в покое! Перестаньте выживать нас из наших домов!

Мать восхищенно расхохоталась.

— А ты злой, — сказала она.

Я подошел к ней, и она ласково взлохматила мне волосы. Солнечный свет трепетал на тюлевых занавесках и клубился в глубокой голубой конфетнице на столике у дивана. Нам ничто не угрожало.

Отец работал с утра до ночи. Днем он приходил домой обедать и снова уходил. Я до сих пор не понимаю, чем он занимался все это время, — по моим представлениям, управление одним-единственным не слишком процветающим кинотеатром не могло требовать присутствия владельца с раннего утра до позднего вечера. Однако отец работал именно так, и мы с матерью ни о чем его не расспрашивали. Он зарабатывал нам на жизнь, на дом, защищавший нас от кливлендских зим. А знать больше нам и не требовалось.

Приходя домой обедать, отец приносил на себе запах мороза. Он был как дерево за окном — такой же большой и непреложный. Когда он раздевался, золотистые волоски на его руках поднимались и наэлектризованно подрагивали в мягком, прогретом воздухе гостиной.

Однажды за обедом отец похлопал мать по животу, ставшему к тому времени круглым и твердым, как баскетбольный мяч, и заявил:

— Тройня! Придется покупать новый дом. Две спальни нас уже не устроят. Нет, даже думать нечего!

— Давай сначала расплатимся за отопление, — ответила мать.

— Через год, всего один год, — продолжал он, — мы сможем позволить себе дом попросторнее.

Отец часто говорил о переменах. Если вести себя должным образом, все обязательно устроится. Нужно только следить за своими поступками и мыслями.

— Посмотрим, — миролюбиво отозвалась мать.

Отец встал и погладил ее плечи, которые при этом целиком исчезли у него в ладонях. Наверное, если бы захотел, он мог обхватить ее шею большим и средним пальцами одной руки.

— Ты думай о ребенке, — сказал он, — и о своем здоровье. Остальное я беру на себя.

Мать не противилась его ласкам, но — судя по выражению лица — удовольствия от них не получала. С приходом отца ее взгляд становился таким же настороженным, как и во время наших совместных выходов на улицу. Она начинала нервничать, как будто вместе с отцом в дом проникало что-то постороннее, что-то из чужого, законного мира.

Отец надеялся, что мать что-нибудь ответит, чтобы можно было и дальше плыть в этом нескончаемом потоке наших семейных разговоров. Но она молчала. Ее плечи под его пальцами были болезненно напряжены.

— Ну что ж, мне пора на работу, — наконец произнес он. — До встречи, старина! Ты уж присматривай тут за всем!

— Хорошо, — сказал я.

Он похлопал меня по спине и крепко поцеловал в щеку. Мать встала и начала мыть посуду. Я остался сидеть за столом, наблюдая, как отец прячет свои сильные руки в рукава пальто и вновь исчезает за дверью.